

Владимир Лидский



ПОНАРОШКУ

...но никто не говорил, да и не мог сказать, будто он убил, ведь не убивал, а всё ж и убил, – взял просто хлебный нож, тупой, к слову сказать, потому что не был ни разу Похилько хозяйственным мужиком, и все ножи в его доме годами оставались тупыми, как и инструмент, иной раз необходимый в хозяйстве: пила, рубанок, стамеска и даже монтажный резак, который по определению должен быть острым, – вот взял со стола хлебный нож и пырнул им податливую плоть! быть бы воплям, стонам и предсмертным всхлипам, быть бы крови, текущей из раны, а вот нет! не было ничего, потому что учитель Похилько всё в жизни делал понарошку, – в юности он любил рисовать, но стал учителем и учил юных оболтусов алгебре да геометрии, рассудив, что разбогатеть на картинках вряд ли удастся, это ж талант нужен да удача! а учительский хлеб – хоть и небольшой, да зато надёжный; мечтая заняться историей математики, он изучал папирус Ахмеса – Среднее царство, двенадцатая династия! – увлёкся Хараппской цивилизацией, из лона которой вышла десятичная система счисления, и написал даже работу о древней концепции нуля, но... дальше амбиций дело не пошло, и школьная суета вскоре затянула его, – так он забыл о своих мечтах стать великим... а хотел памятника, да! но воображаемая статуя, поставленная потомками на его родине, рассыпалась в пыль, превратившись в мираж и... он не помышлял более о славе, не жаждал поклонниц, аплодисментов, цветов, а просто писал всякий день со скукой в душе: $икс$ квадрат плюс игрек квадрат, и с гадливой гримасой брал тряпку, чтобы стереть с доски кривые строчки призрачных формул, брезгливо стряхивал мел с руки, а ещё... будучи на первом курсе, влюбился в девочку, первую университетскую красотку, и имел глупость признаться ей в любви, – девочка насмешливо глянула и сказала: хочу ноги об тебя вытирать, согласен, нет? и он тупо отвечал: согласен... он лёг перед ней прямо в университетском коридоре, и она вытерла об него ноги – в самом что ни на есть буквальном смысле – методично и сладострастно вытерла об него ноги – сначала одну, потом вторую, вот так вот на глазах у всех вытерла об него ноги, и все сокурсники после этого стали презирать его, и ни одна девочка более во всё время учёбы ни разу даже словечка не сказала ему, – вот так у него всё было не всерьёз, и сама жизнь казалась ему игрой, а он только примеривал на себя некие игровые обстоятельства, словно бы репетировал судьбу, не ожидая премьеры, и даже когда



пришёл земной срок отца, главного человека в его жизни, он думал: не всерьёз! не может отец вправду умереть! – да как же, – возражали родные, – он в гробу! – а он говорил: игра!.. отец хочет поугагать нас... провожающие смотрели на него с опаской, и было же чего ожидать, ибо поминки прошли плохо, – сын напился и понёс стыдную чепуху, задирали родственников, громко плакал, неряшливо сморкался, горько проклиная родных; людям казалось: Похилько-сын сам играет в игру, в страшную трагическую игру, и тоже чувствовали благодаря ему, что находятся в игровом пространстве, из которого нет выхода и в котором остаётся лишь оставаться... всё в жизни его было ненастоящим – профессия, интерес к природе и показная любовь к детям, влечение к женщинам, и в отсутствии женщин пользовался он суррогатом любви, изводя себя любовью к себе, и вдобавок стыдился отчаянного своего рукоблудства, в придачу к старым, цветущим с самого детства комплексам чувство вины за бесплодную любовь... он ел ненастоящую еду, спал на ненастоящей кровати, совершал ненастоящие путешествия... впрочем, были у него друзья, тоже, правда, ненастоящие; он хотел совершить преступление – ограбить кого-нибудь, убить, изнасиловать, – чтобы почувствовать наконец вкус жизни, понять, что и жизнь – настоящая, и сам он – всё-таки настоящий, но – боялся, думая: вдруг и закон в нашей стране фальшивый, и преступление останется без возмездия, – эдак меня совесть замучает и со свету сживёт, а ведь я всё-таки живой и вовсе не хочу досрочного небытия... тут он холодел в ужасе и думал: а вдруг и *там* – игра, вдруг небытие – тоже ненастоящее? – мысль эта доводила его до отчаянья, и он думал: отрежу себе ухо, как Ван Гог, чтобы испытать боль и доказать же наконец всем, что я жив, жив, что во мне – тёплая кровь и предезкий ум... отчего же меня не видит никто, разве не жив я? я говорю с коллегами, учениками, соседями, меня знает участковый... я в магазин хожу!.. но нет мне покоя и нет доказательств присутствия в мире моей нетленной мысли, ибо я говорю – меня не слышат, я кричу – в ответ мне молчат, а ежели не молчат, паче чаянья, то грубо пеняют, повторяя за классиком: *он – порет – дичь!* – я всегда порол дичь, и все это отмечали, – в детстве, к примеру, меня хотели убить, и как раз за дичь: я позаимствовал у отца скальпель, – рассуждая теоретически – украл, – и принёс в школу, чтобы отворить кровь кому-нибудь из друзей, хоть ненастоящих, потому что отец рассказывал вечерами маме, как он давеча оперировал, как сделал то-то и то-то и спас, таким образом, пациента от ухода в иные миры, – вот я тоже взял и полоснул соседа по парте Мишу, вскрыв ему вены и залил кровью пол школьной рекреации, и потом, когда уже всё стихло, – уехала скорая, прекратился ор и дикие вопли школьного завуча, – ко мне подошёл отец Миши и спросил: зачем это? – низачем, – сказал я, – понарошку... в докторов играли, – а вот я тебя убью, – возразил отец Миши, – понарошку убью, как тебе такое понравится? – с тех пор маленькому Похилько не было доверия вообще, и ежели, отвечая урок, тараторил он его от аза до аза, то даже и в таком случае всякий учитель машинально думал: порет дичь! – и ставил нашему отличнику кислую тройку, а он думал: это игра, это понарошку... всё как-то не клеилось у него, и мысль вечно тонула в болоте безмыслия... он стал замечать вредные заусеницы на своём пути, и уже вслух, ни к кому в общем-то не обращаясь, бормотал в их адрес проклятия, разговаривал сам на сам и изрекал гуманитарные аксиомы, перед которыми уж не один век прогрессивное человечество снимало шляпы, шапки, панамы, бейсболки, – он стал точь-в-точь учитель Беликов и едва

не утверждал, будто Волга впадает в Каспийское море, становясь вообще уже чеховским таким персонажем, который даже влюбился по-чеховски, да не добился от предмета вожделений своих ни-че-го, – он влюбился, да, и даже ходил на цыпочках возле своей *принцессы*, коей стала тридцатидвухлетняя словесница Маргарита Львовна... о, это была такая баба, какую не в каждой школе сумел бы он сыскать! – яркая, броская, всякий день в боевой раскраске и с рискованным декольте, вечно получающая предостережения от директора, – мужчины, к слову сказать, и всегда же глядящая с вызовом на любого представителя противоположного пола, – бой-баба, смерч-баба, смерть-баба! и угораздило нашего Похилько влюбиться в неё! – он ходил, вздыхал, вернулся даже сгоряча к папирусу Ахмеса – Среднее царство, двенадцатая династия! – вновь трогал воспаленную мыслью своею Хараппскую цивилизацию, из лона которой вышла десятичная система счисления, и даже взялся редактировать давнюю работу о древней концепции нуля, но... красавица Маргарита не видела его, не думала о нём, просто не замечая это ничтожество с воображаемым папирусом Ахмеса под мышкой... а он страдал, как страдал! – что, брат, страдаешь? – спрашивал его Гай Петрович, быкоподобный учитель физкультуры, – ты не страдай, ты дело делай, – она даст, ей-богу, даст, она ж всем тут даёт... и там даёт... везде даёт! – Похилько сжимал кулачки, но противопоставить Гаю Петровичу ему было нечего, он краснел, бледнел, разжимал кулачки и молча уходил прочь; учитель истории звал Гаю Петровича Светонием, в память Гаю Светония Транквилла, и говорил ему иной раз за пивом, с завистью поглядывая на его бицепсы: ты, Светоний, большой интеллеktуал, но ничего подобного *жизни цезарей* вовек тебе не создать! – эта насмешка, вовсе не понимаемая, впрочем, Гаем Петровичем, была очень точной, ибо физрук пятьдесят раз поднимал две пудовые гири, легко разбивал ребром ладони силикатный кирпич и за полторы минуты надувал грелку, но не помнил сюжета «Муму» и с трудом отличал друг от друга писателей-классиков, которых лет двадцать назад *проходил* в школе, – вот сей *интеллеktуал* и поспособствовал тому, чтобы наш Похилько убил, – пусть и понарошку, а всё ж убил! – после каникул, среди апреля, залитого солнцем, сидел Похилько в столовой школы и мучил говяжьё котлетку, не глядя по сторонам, – в тот миг, когда он подвинул тарелку, взял чай и задумчиво положил в него кусок рафинаду, к столу подошёл Гай Петрович, уселся против и с состраданием глянул в глаза визави: кушаешь, брат? а я ведь того... – чего – того? – тревожно спросил Похилько и инстинктивно сжал кулачки, – Маргошу твою вчера утешил... кошка! как есть кошка!.. вот так, брат, говорил тебе... – глаза математика блеснули, и он натужно выдавил из себя: вода мокрая, а трава зелёная... знаешь ли, мой друг, отчего мокрая в этом свете вода? мокрость её определяется влажностью, и посему сухое не может быть мокрым... всякая вода – суть мокра, ведь она течёт, а всё, что не течёт, мокрым не станет, ибо ненамокаемое не способно быть мокрым во веки веков, – Гай Петрович напрягся; опять же – зелёная трава, – продолжил Похилько, – она зелена вследствие того, что хлорофилл поглощает цвета, но отдаёт лишь зелёный, – потому и трава зелёная... Гай Петрович тоскливо посмотрел в сторону; знаешь ли? – возвысил голос Похилько, – взять, к примеру, снежок, – отчего, по твоему мнению, имеем мы счастье наблюдать его зимами? оттого, друг мой, что летом тепло, стало быть, в июле, к примеру, он явиться не может, – зимой дело иное, ибо зимой холодно, и скажи мне, положи всё-таки руку на сердце: видел ты когда-

нибудь летом снег? – Гай Петрович пожал плечами, – а ещё, дружок, думаешь ты, очевидно, будто великая река Волга впадает-таки в Каспийское море? ошибка это... а ведь ты учитель; Волга впадает в Каму, а уж Кама в свою очередь – в Каспийское море... более того, Каспийское и не море вовсе, а лишь озеро... да будет тебе это известно, доблестный Гай Светоний Транквилл! – Гай Петрович смотрел на него во все глаза и думал: порет дичь! – растерянность его была такова, что он, не в силах более понимать Похилько, встал и с решительным видом покинул столовую, оставив собеседника в состоянии крайнего возбуждения, воодушевления и гнева, которых хватило ему до нового дня, когда он сыскал в городе спецмагазин и прикупил куклу из резины для ненастоящей любви; куклу назвал Маргаритой и вечером того дня любил её изо всех сил, после чего взял с кухни тупой хлебный нож и пырнул им податливую плоть подруги... убил! хоть и не убил! жалеешь теперь его, словно трёхногую собаку, попавшую в свой час под колёса, – он стоит на грязной обочине в образе бездомного пса и тянет к толпе сломанную лапу, – прохожие идут мимо, им нет дела до него... шум машин, шелест шагов... летний зной, а может быть, – снег, люди не видят его... собака! мало ль собак встречается на пути? нет повода взглянуть, увидеть, погладить, – разве ребёнок, случайный ребёнок, почувствовав иглу жалости в сердце, станет вблизи и протянет руку...